

Я помню  
её такой...



Моя  
мать — Марина  
Звездасва  
Ариадна Эфрон

Я помню ее такой...

Ариадна Эфрон

**Моя мать – Марина Цветаева**

«Алисторус»

2016

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

### **Эфрон А. С.**

Моя мать – Марина Цветаева / А. С. Эфрон — «Алисторус»,  
2016 — (Я помню ее такой...)

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери – родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом... У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг – записать то, что помнит о матери, «высказать сокровенное». Эти мемуары долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву. Книга также издавалась под названием "Марина Цветаева. Сергей Эфрон. Любовь и трагедия"

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Эфрон А. С., 2016  
© Алисторус, 2016

## Содержание

Попытка записей о маме	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Ариадна Сергеевна Эфрон

## Моя мать – Марина Цветаева

© Эфрон А.С., 2016

© ООО «ТД Алгоритм», 2016



*У меня плохая память, лишенная стройного порядка, присущего цветаевскому роду. Случаи, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если бы умела, написать страницами. Если бы умела. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гётевским!*

*Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умолчанное, воскресить убитое и поправленное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери – и о времени.*

## Попытка записей о маме

Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум – собрать воедино все составные части единства.

Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.

Лиц не видно – они где-то там наверху, разглядеть их можно, только когда они наклоняются ко мне или кто-то берет меня на руки; тогда только вижу – и пальцем трогаю – большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит «ам» и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.

Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое «я» еще не определилось, «я» – это сплошная зависимость от всех этих глаз, губ и, главное, – рук. Все остальное – туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамины руки – они гладят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой, как хотят. Они – первая реальность и первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим.

Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос – вот мама самых ранних моих лет. Впервые же я увидела ее и осознала всю целиком, когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.

Мама была среднего, скорее невысокого, роста, с правильными, четко вырезанными, но не резкими чертами лица. Нос у нее был прямой, с небольшой горбинкой и красивыми, выразительными ноздрями, именно выразительными, особенно хорошо выражавшими и гнев, и презрение. Впрочем, все в ее лице было выразительным и все – лукавым, и губы, и их улыбка, и разлет бровей, и даже ушки, маленькие, почти без мочек, чуткие и настороженные, как у фавна. Глаза ее были того редчайшего, светло-ярко-зеленого, цвета, который называется русалочьим и который не изменился, не потускнел и не выцвел у нее до самой смерти. В овале лица долго сохранялось что-то детское, какая-то очень юная округлость. Светло-русые волосы вились мягко и небрежно – все в ней было без прикрас и в прикрасах не нуждалось. Мама была широка в плечах, узка в бедрах и в талии, подтянута и на всю жизнь сохранила и фигуру, и гибкость подростка. Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатье, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними – так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими – раз и навсегда – были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой все запястье. Три кольца – обручальное, «уцелевшее на скрижалях»<sup>1</sup>, гемма в серебря-

---

<sup>1</sup> Строка из стихотворения М. Цветаевой «Писала я на аспидной доске...» (1920). «Ты – уцелеешь на скрижалях» – относится к имени мужа, обозначенному на внутренней стороне обручального кольца.

ной оправе – вырезанная на агате голова Гермеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка, с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и, вокруг кораблика, надписью – тебе моя синпатія – очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. На моей памяти надпись почти совсем стерлась, да и кораблик стал еле различим. Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней.





*Марина Цветаева. Феодосия. 1914 г.*



В тот вечер, когда мама воплотилась для меня в единое целое, на ней было широкое, шумное шелковое платье с узким лифом, коричневое, а рука, забинтованная после операции, была на перевязи, и даже перевязь эту я запомнила – темный кашемировый платок с восточным узором.

Самое мое первое воспоминание о ней – да и о себе самой: несколько ступеней – на верхней из них я стою, ведут вниз, в большую, чужую комнату. Все мне кажется смещенным, потому что – полуподвал. Лампочка высоко под потолком, а потолок – низко, раз я стою на лесенке. Не пойму, что ко мне ближе – пол или потолок. Мама там, внизу, под самой лампочкой, то стоит, то медленно поворачивается, слегка расставив руки, и смотрит вовсе не на меня, а себя оглядывает. Возле нее, на коленях, – женщина, что-то на маме трогает, приглаживает, одергивает, и в воздухе носятся, все повторяясь и повторяясь, незнакомые слова «юбка-клеш, юбка-клеш». В углу еще одна женщина, та вовсе без головы, рук у нее тоже нет и вместо ног – черная лакированная подставка, но платье на ней – живое и настоящее. Мне ведено стоять тихо, я и стою тихо, но скоро зареву, потому что на меня никто не обращает внимания, а я ведь маленькая и могу упасть с лестницы. Это, мама говорила, было в Крыму, и пошел мне тогда третий год.

Из того лета не осталось в памяти ни людей, ни вещей, ни комнат, где мы жили. Впервые возник в сознании папа – он был такого высокого роста, что дольше, чем мама, не умещался в поле моего зрения, и первое мое о нем воспоминание про то, как я его не узнала. Мама несет меня на руках, навстречу идет человек в белом, мама спрашивает меня – кто это, а я не узнаю. Только когда он наклоняется надо мной, узнаю и кричу – Сережа, Сережа! (В раннем детстве я родителей называла так, как они называли друг друга, – Сережа, Марина, а еще чаще – Сереженька, Мариночка!)

Еще помнятся мамины шлепки, за то, что я с крутого берега бросила свой новый башмачок прямо в море. Шлепки помню, а море – нет, оно было такое огромное, что я его не замечала.

Следующее лето в Крыму уже заполняется людьми, событиями, оттенками, звуками, запахами. Уже врезается в память белая, нестерпимо белая от солнца стена дома, красные розы, их сильный, почти осязаемый запах и их колючки. Уже различаю море и вижу горизонт, но чувства пространства еще нет: море для меня, когда стою на берегу, – высокая сизая стена. Я – ниже его уровня. – Понимаю, что море хорошо только с берега. Купаться в нем – ужасно.

Когда меня, крепко держа подмышки, окунают в шипящую волну, я заливаюсь слезами и визжу не переводя дыхания. Потом мама вытирает меня мохнатой простыней и стыдит, но мне все равно, главное, что я – на суше. Чтобы приучить меня к купанью, моя крестная, Пра, мать Макса Волошина, бросается в море и плывет – прямо одетая. Когда она выходит на берег, с ее белого татарского халата, расшитого серебром, с шаровар и цветных кожаных сапожков ручьями льет вода. Но мне не смешно и не интересно глядеть на нее. Пра мне помнится очень большой, очень седой, шумной, вернее – громкой.

Временами рядом со мной возникает мой двоюродный брат Андрияша. Он – хороший мальчик, он – не боится купаться, у него чаще, чем у меня, сухие штаны, он хорошо ест манную кашу и даже глотает ее, он «слушается маму». Несмотря на то, что он так хорош, я все же люблю его на свой лад, мне нравится полосатый колпачок с кисточкой у него на голове, мне весело качаться с ним на доске, положенной поперек другой доски. Пусть мы с ним часто деремся, чего-то там не поделив, но я тянусь к нему, потому что чувствую в нем человека одной со мной породы: он так же мал и так же зависим, как я. Его так же, как и меня, куда-то уносят на руках в самый разгар игры, так же неожиданно, как меня, вдруг укладывают спать, или начинают кормить, или шлепают и ставят в угол. Он – мой единоплеменник и единственный настоящий человек в окружающем нас сонме небожителей.

Правда, первое наше знакомство вызвало у меня чувство настоящей ненависти. Это было, видимо, предыдущей зимой в Москве. В моей детской появился маленький белоголовый мальчик, в платице и в красных башмачках. Это – говорит мама – твой брат Андрюша. «Мой брат Андрюша» неуверенно протягивает мне ручку, но я обе свои прячу за спину и начинаю больно наступать своими черными на его красные башмачки. Давлю изо всех сил, молча, сопя от зависти и гнева. У него – у него, у «брата Андрюши», а не у меня такие красивые красные башмачки! Мне нужно уничтожить их и раздавить, раз они не мои. Андрюша отступает, я наступаю – и все ему на ноги. Андрюша вцепляется мне в волосы, я с наслаждением – ему в лицо. Нас разнимают мамы – моя и его, нас хлопают по рукам, я воплю от досады, от неумения выразить обуревающие меня страсти – у меня еще нет слов, и я не могу объяснить, что красные башмачки должны быть моими или пусть их вовсе не будет!

Именно этим крымским летом выясняется, во-первых, что я труслива – Пра подарила мне ежика, но страх и отвращение мое перед его колючками сильнее умиления перед тем, что он, не в пример мне, умеет пить молоко из блюдечка. Все гладят ежа – и мама, и Пра, Андрюша даже вперед забегают, – а я не могу заставить себя протянуть руку – к этому стустку колючек, сам воздух вокруг них, кажется мне, колется!

Во-вторых, выясняется, что я совсем не умею есть. Я способна только жевать, жевать до бесконечности, но проглотить эту жвачку не в состоянии и старательно выплевываю ее. С борьбы с этими моими двумя первыми недостатками и начинается мама свою «воспитательную работу» – и на долгие годы. Она борется с моей трусостью увещеваниями, наказаниями, а с водобоязнью – просто купаньем – но обе мы стойки и не сдаем позиций.

– Ты боялась погладить ежика? Бог тебя наказал – теперь ежик сдох, понимаешь? умер, ну, уснул и никогда не проснется. Нет, разбудить его нельзя. Теперь ты и хотела бы его погладить, а уж поздно. Бедный, бедный ежик! – А все потому, что ты – трусиха!

Я горько плачу, долго, долго помню – да и по сей день не забыла, как ежик, подаренный мне Пра, сдох, умер, уснул навсегда из-за того, что я побоялась погладить его. Но все же не уверена, что заставила бы себя к нему прикоснуться, даже если бы наказавший меня Бог воскресил его тогда, снизойдя к моему горю.

А ела я в детстве действительно ужасно. Жевала, рассеянно глаза по сторонам или боязливо вперясь в маму, уже рассерженную, жевала, цепenea от сознания, что все это нужно проглотить – и не глотала. Жевала до последнего предела – а потом выплевывала. Плевалась, зная, что кара неизбежна, шла на нее с ослиным упрямством и христианским смирением.

Плевалась до того, что мама раздевала меня догола, вешала мне на шею салфетку с вышитой красными нитками кошачьей головой и надписью «Bon appetit» – подарок маминой сестры Аси – и, сама надев фартук, садилась напротив моего высокого стульчика с тарелкой манной каши и ложкой в руках. В кормлении моем принимали участие многие, каждый говорил, что в жизни не видывал такого случая, но тем не менее советы давали все. Пра, которую мама уважала и слушалась, советовала не кормить меня вовсе, пока я сама, проголодавшись, не попрошу есть. Мама согласилась. Лето было жаркое, я все пила молоко – три дня только молоко пила, а есть так и не попросила, так и не проголодавшись. На четвертый день мама сказала, что не согласна быть свидетелем гибели собственного ребенка, и вновь я сидела голая с салфеткой под подбородком и не могла проглотить ничего, кроме собственных слез.

(Много, много лет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в жургазовской редакции журнала «Ревю де Моску». Телефонный звонок. «Ариадну Сергеевну, пожалуйста!» – «Это я». – «С вами говорит Елена Усиевич<sup>2</sup>. Вы помните меня?» – «Нет». – «Да, правда. Вы тогда были совсем маленькая... Как вы живете, как устроились?» – «Хорошо, спасибо!» – «А как едите?» – «Да я, собственно, достаточно зарабатываю,

<sup>2</sup> Елена Усиевич, литературный критик.

чтобы нормально питаться», – отвечаю я, озадаченная такой заботливостью. – «Ах, я вовсе не про то, – перебивает меня Усиевич, – едите как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали... Я до сих пор не могу забыть, как вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой вас кормила М<арина> И<вановна>! И вот теперь узнала, что вы приехали, и решила вам позвонить, узнать...»)

Дом, в котором проходили мамины молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это – двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева – мама посвятила им стихи «Два дерева хотят друг к другу» – теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру № 5 этого дома мы переехали из Замоскворечья, где я родилась. Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путаная, нескладная, полутрехэтажная и очень уютная. Две двери из передней вели – левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая – в большую темную проходную столовую. Днем она скудно и странно освещалась большим окном-фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол – прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд-часы и бюст Пушкина. У одной из стен – длинный, неудобный, черный – клеенчатый или кожаный, с высокой спинкой – диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою большую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире, – три окна. Окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это – три подслеповатых и – тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отопливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка, книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М. А. Мейн, мамины и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала изножьем моя кровать с сеткой, а изголовьем – к сундуку очередной няни. Ни больших столов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню – однако, они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах – копии Греза, одна из них – девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин – а может быть, и все они – были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской все в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стене, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната – не навязанный судьбой угол, не кратковременное убежище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше...

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы в виде буквы «Г», темноватая, т. к. окно было прорезано почти в углу короткой ее стороны – мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядом книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, «безделушки» самое неподходящее для маминого письменного стола слово! То были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые) – среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, быта высокая, круглая, черного лака коробочка с перьями и каранда-

шами, называвшаяся «Тучков-четвертый»<sup>3</sup>, потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 г. – в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было пресс-папье бабушки Марии Александровны – две маленьких металлических руки, выглядывавших из кружевных манжет, скрывавших пружину, две темных руки, цепко сжимавших пачку писем. Боязнь и любопытство вызывала странная черная фигурка Богоматери, когда-то привезенная дедом Иваном Владимировичем Цв<ета-евым> из Италии. Это была средневековая Мадонна с лобастым личиком и широким разрезом невидящих глаз, величиной с ладонь, тяжелая, то ли чугунная, то ли железная. В животе фигурки открывалась двустворчатая дверка – Богоматерь оказывалась внутри полая и вся утыканная острыми шипами. – В средние века, – рассказывала мама, – в Италии была такая статуя – выше человеческого роста. В нее запирали еретиков – закрывали дверцу, и шипы пронзали их насквозь. Средние века, Италия и еретики были для меня понятиями весьма туманными, но, глядя на шипы и трогая их пальцем, я всей душой восставала против средневековой Италии и такой Божьей Матери – за еретиков!

Между столом и дверью находилось углубление, вроде ниши, задерживавшееся синей занавеской. На одной из полок лежала, завернутая в шелковый платок, белая гипсовая маска, снятая с папиного умершего от туберкулеза брата Пети. Прекрасное спящее это лицо, такое измученное и такое спокойное, похожее на папино, всегда вызывало у меня нежность и жалость. Я часто просила маму «показать мне Петю» и целовала сомкнутые, грустные, прохладные губы и закрытые большие-большие прохладные глаза.



*Борисоглебский переулок, 6. Теперь здесь Дом-музей Марины Цветаевой.*

---

<sup>3</sup> «Тучков-четвертый» – Александр Алексеевич Тучков, генерал-майор, погибший в Бородинском сражении.



*Дочери Марины Цветаевой – Ариадна и Ирина. «Старшую у тьмы выхватывая – младшей не уберегла...»*

«Он тебя знал, – говорила мама, – а ты его не помнишь. Он тебя любил. У него была маленькая дочка, которая умерла. У него была жена-танцовщица, которая его не любила...»

Дочка, которая умерла? Танцовщица, которая не любила? Как это все непонятно! Как можно умирать? Как можно не любить?

На полках было много всяких интересных вещей – морские звезды, раковины, панцирь черепахи – и стереоскоп и множество двойных фотографий к нему – Крым, мама, папа. Макс, Пра, мы с Андрюшей, еще всякие знакомые и просто виды. В стереоскопе все выглядело настоящим, совсем живым, хоть и неподвижным.

Стена по правую сторону двери была свободна, возле нее ничего не стояло, кроме старого вольтеровского кресла, к ней можно было подходить вплотную и водить пальцем по розам светлых обоев. Можно было погладить висевшую на ней красиво выделанную серо-голубую шкурку, подбитую красным сукном и отороченную суконными же зубчиками. Это – шкурка маминого любимого кота Кусаки, которого она привезла крохотным котенком из Крыма, везла 3 суток, за пазухой блузки-матроски. Кусака был умный, все понимал, как собака, и даже лучше. Он был настолько умен, что даже понимал назначение моего ночного горшочка и лучше, чем я сама, – с превеликим трудом и старанием пользовался им, цепляясь всеми четырьмя лапами за скользкие эмалированные его края. Вороватая кухарка, которую мама уволила, в отместку отравила Кусаку. Издыхающий Кусака, весь в пене, с всклоченной, потускневшей шерстью, приполз через всю квартиру к маме – прощаться – и так и умер у нее на руках. Мама плакала навзрыд, я тоже голосила, а потом мы сели на извозчика и повезлидохлого Кусаку к скорняку. Тот предложил увековечить кота «как живого» – чтобы он вроде как бы крался за птичкой по ветке вроде как бы настоящего дерева! Несмотря на то, что птичку скорняк предлагал совершенно даром, в виде премии, мама не согласилась уродовать нашего Кусаку – и вот он превратился в эту самую шкурку, висящую на стене.

(Помню, еще до всякого кухаркиного вмешательства Кусака как-то раз заболел – ветеринар выписал рецепт, который мама долго хранила как образец непрофессионального стихотворства. Рецепт кошачьей микстуры гласил:

«Каждый час по чайной ложке Кошке – Госпожи Эфрон».)

Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукция Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь».

На противоположной стене был большой папин портрет, написанный приятельницей моих родителей, художницей Магдой (спросить у Лили фамилию) во время папиной болезни. Папа полулежал в кресле, с книгой в руке, ноги его были закутаны пледом. Фон портрета был ярко-оранжевым, то ли занавес, то ли условный закат...

Висел портрет над широкой и низкой тахтой, покрытой куском восточного в лило-вато-зеленую расплывчатую полосу шелка, такого, из которого в Узбекистане и до сих пор шьют халаты. С потолка спускалась синяя хрустальная люстра с тихо звеневшими длинными гранеными подвесками, очень старинная и красивая. На полу, прямо под люстрой, лежала волчья шкура, казавшаяся мне по ее и моей величине медвежьей. Приятно было совать кулачок в разинутую волчью пасть и знать, что волк тебя не укусит, хоть клыки у него и настоящие!

От изголовья тахты до стены с Кусачьей шкуркой все пространство занимал огромный старинный секретер, из которого мама иногда доставала музыкальную шкатулку, довольно тяжелую, темного дерева с инкрустациями. Она играла несколько грустных, медленных пьесок, отчетливо выговаривая мелодию. Крутились медные валики с шипами, задевавшими за зубья металлического гребешка, весь механизм добывания музыки из валиков и нотных картонок с прорезями был очевиден, но шкатулка оставалась таинственной и волшебной. Помимо музыкальной шкатулки у мамы была еще и настоящая старая шарманка, купленная у настоящего старого шарманщика. И мама, и папа, и их молодые гости с увлечением крутили ручку шарманки, игравшей с хрипом и неожиданными синкопами «Разлуку».

Для того чтобы попасть на второй этаж квартиры, нужно было проделать весь путь обратно, через темный коридор в столовую, оттуда в переднюю, и, попав в другой коридор, подняться по довольно высокой и крутой лесенке. Лесенка оканчивалась площадкой, хорошо освещенной окном; на нее выходили двери большой кухни, куда мне, маленькой, ход был запрещен, ванной, чулана и уборной. Еще один, последний, коридорчик вел мимо маленькой комнаты (где всего только и умещалось, что кровать с ничем не покрытым матрасом, стол, стул и бельевой шкаф) в папину большую и не очень светлую, т. к. часть ее тоже кончалась каким-то закоулком; папину комнату я помню не очень отчетливо, т. к. в ней я бывала редко – из детской легко можно было забраться к маме или в столовую, а тут нужно было преодолевать лестницу, миновать запретную кухню, и вообще это было целое путешествие, на которое я отваживалась только после специального приглашения.

В папиной комнате была тахта у левой от двери стены, справа, у окна, стол письменный, в глубине – круглый, буфет, в котором жило печенье «Альберт» и «Мария» и еще какао в жестянке с голландской девочкой – неразрывно связанное в моей памяти с О. Э. Мандельштамом – но об этом позже!

Когда я бывала в гостях у папы, меня сажали за круглый стол, «угощали» печеньем, и оттого, что оно, такое знакомое и невкусное в детской, было «угощением», я с удовольствием и даже торжественностью ела его. Здесь как-то на Пасху подарили мне настоящую игрушечную Троице-Сергиеву лавру – целый ящик розовых домиков и церквушек – одноглавых и многоглавых – до этого у меня были только кубики, и, помнится, я была совершенно потрясена этим игрушечным городком, который можно было видоизменять по своему желанию. Лавра эта была у меня до самого отъезда за границу, когда мама меня уговорила подарить ее маленькому Саше Когану, потому что решила, что Саша – сын Блока (Блок, как говорили, был увлечен женой Петра Семеновича)... Я, очень легко дарившая игрушки, легко подарившая и эту и

вообще ничуть не жадная, долго потом жалела свою «Лавру» и вспоминала о ней. К тому же Саша оказался всего-навсего сыном своего законного отца...

По нашей Борисоглебской квартире долго еще будет плутать моя память, цепляясь, как шипы валика музыкальной шкатулки, за многое, происходившее в тех комнатах, но с маленькой комнаткой, расположенной рядом с папиной, у меня связано только три ранних воспоминания, о которых и расскажу сейчас, чтобы больше в нее не возвращаться. Мы с моей тетей, папиной сестрой Верой, почему-то сидим на полосатом матрасе нежилкой кровати и разговариваем. Вера спрашивает: «Ты меня любишь?» – «Ужасно люблю», – отвечаю я. «Ужасно люблю – не говорят, – поправляет меня Вера, – ужасно – значит очень плохо, а очень плохо – не любят. Надо сказать – очень люблю!» – «Ужасно люблю», – упрямо повторяю я. «Очень!» – говорит Вера. «Ужжжасно люблю», – уже со злобой повторяю я. Входит мама. Бросаюсь к ней: «Мариночка, Вера сказала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю – не говорят, что можно только – очень люблю!» Мама берет меня на руки. «Можно, Алечка, ужасно любить – ужасно любить – лучше и больше, чем просто любить или любить очень!» – говорит мама и раздувает ноздри – значит, сердится на Веру.

Почему я так запомнила этот полосатый матрас? Потому что однажды нашла на нем настоящую конфетку! Никого, кроме меня и матраса, в тот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, значит, на каждом матрасе бывают конфеты! И не раз я, к удивлению няни, перекапывала свою постельку в детской и сердилась, ничего не найдя! Найденная конфета была моей тайной, о ней я даже маме не сказала, и, может быть, именно поэтому другой конфеты никогда не находила.

Третье воспоминание – за столом в маленькой комнатке сидит молоденькая, румяная, приветливая женщина, которую зовут «домашней портнихой». На ручной машинке она подрубает простыни и рассказывает маме, как она, девочкой, заснула и не могла проснуться, слышала, как приходил доктор и сказал, что она умерла, чувствовала, как ее положили в гроб, слышала и плач матери, и заупокойную службу, а проснуться все не могла. «Летаргический сон! – говорит мама. – Ведь вас же могли заживо похоронить!» Я цепенею от ужаса – похоронить – значит закопать в землю! Закопать в землю живую спящую домашнюю портниху! – «А что было дальше?» – с трепетом спрашиваю я. Мама вспоминает обо мне: «Эта сказка не для тебя!» – и уводит меня из комнаты. «Мариночка, ее заживо похоронили?» – «Да нет же, она проснулась и, видишь, сидит и шьет...» – «Мариночка, а куда гроб девали?» – «Не знаю, – говорит мама. – Наверное, подарили кому-нибудь». Я успокаиваюсь. Что такое гроб и похороны, я хорошо знаю, одна из моих, недолго у нас заживавшихся, нянь, та самая, у которой «сын на позициях», из-за чего она почему-то иногда плачет, часто тайком вместо прогулки водит меня в церковь – на похороны и заставляет прикладываться к чужим покойникам. Это, в общем, интереснее прогулки, т. к. Собачья площадка всегда одна и та же, а покойники – разные. К тому же они для меня нечто вроде церковной утвари, такая же непонятная и, видимо, необходимая для церкви принадлежность! Мне всегда очень хочется рассказать об этом маме, поделиться удовольствием, но детская память коротка, на обратном пути я все забываю. Тот единственный раз, что не забыла, оказался для няни роковым – мама немедленно рассталась с ней...

Сколько комнат было в нашей квартире – столько и миров, и разделявшие их границы легко и по собственной воле перешагивали только взрослые. От меня эти миры были ограждены многочисленными «нельзя», и первым из этих запретов был запрет вторгаться в жизнь старших. Но даже тогда, когда меня в нее допускали, «нельзя» продолжали преследовать меня – и только меня одну. Бывали дни, когда меня сажали за общий стол; взрослые – а их немало собиралось за нашим круглым столом – разговаривали, спорили, смеялись – движения их были свободны и голоса громки; на тарелках взрослых была какая-то другая, особенная еда. Они чокались красивым вином в красивых бокалах. А я должна была есть ненавистный шпинат



или гречневую кашу, голубую от молока, причем есть «помогая себе корочкой», а не пальцами. Мне нельзя было «перебивать старших» и вмешиваться в их разговор, болтать ногами или опускать руку под стол, чтобы погладить дежурившего там пуделя Джека, а участие мое в застольной беседе обычно сводилось к словам «спасибо» и «пожалуйста». Такое положение вещей ничуть меня не тяготило, и, несмотря на то, что в детской я обрела полную свободу грубить няне, бегать, вопить и озорничать, свобода эта меня не привлекала: слишком пленительна была жизнь взрослых, и, чтобы прикоснуться к ней, я готова была вся, целиком, с головой влезть в китайскую туфельку «хорошего поведения».

«Хорошим поведением» ведала мама, и нельзя было даже помышлять о том, чтобы девочка, которая себя плохо вела, осмелилась проникнуть в ее комнату.

Мамина комната была праздником моего детства, и этот праздник нужно было заслужить. Он начинался, как только я переступала порог: для меня заводилась музыкальная шкатулка, мне давали покрутить ручку шарманки, мне позволяли поиграть с черепашным панцирем, поваляться на волчьей шкуре и заглянуть в стереоскоп. Папа брал меня на колени и рассказывал такие сказки, каких никто больше не знал. Особенно я любила сказку про разбойников, но ее почему-то папа никогда не рассказывал в мамином присутствии. Сказка была такая: «Вот как-то раз девочка Аля осталась дома совсем одна... Папа ушел, и мама ушла, и няня ушла, и Джек ушел... Узнали про это разбойники. Вот вошли разбойники в дом. Вот они идут по лестнице. Вот они открыли дверь – смотрят: а где тут девочка Аля? Вот они вошли в переднюю – пошли сперва на кухню, а из кухни в ванную, а в руках у них ножи... («Булатные?» – дрожа, спрашиваю я. «Булатные», – эпическим тоном подтверждает папа.) ...ищут они девочку Алю... Вот они вошли в папину комнату... смотрят под диваном – нет девочки Али! Смотрят в буфете – нет девочки Али! Смотрят в шкафу – нет девочки Али! Тогда выходят они из папиной комнаты... («Нет! нет! – в ужасе кричу я, т. к. мне необходимо во что бы то ни стало подольше задержать разбойников на верхнем этаже. – Еще не выходят! Они еще под роялем не смотрели!»)... Смотрят под роялем – нет там девочки Али! Тогда они идут в столовую... («Нет, нет, не в столовую! Они еще в уборной не были!») – Ах да, – невозмутимо продолжает папа. – Смотрят они в уборной – нет там девочки Али...»



*Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукции Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь»*

Мучительное путешествие разбойников продолжалось долго. С каждым шагом, неотвратимо, приближались они к детской, где пряталась девочка Аля. Напряжение и страх все нарастали.

тали – но папу это ничуть не волновало. Он не боялся, его-то ведь дома не было и не его искали разбойники!..» Вот они идут по коридору... все ближе-ближе... вот разбойник берется за ручку двери... вот – он – открывает – дверь...» Не выдержав, я визжу, и папа, сам почему-то оглядываясь на дверь, успокоительной, бодрой скороговоркой подводит сказку к счастливому, хоть и кровопролитному концу: «Но в это время как раз вернулся домой папа»... («И убил всех разбойников!» – в восторге завершаю я.) – «И убил всех разбойников», – подтверждает он. Какое счастье, какое освобождение! Я – спасена!

За исключением этой, все папины сказки были добрые и уютные. И сам папа был такой добрый и такой «лучше всех», что я решила выйти замуж только за него, когда вырасту.

На одной из полок с мамиными сокровищами лежали три бабушкины детские книги – г очевидно, самые любимые ею или по каким-то иным признакам самые ценные, т. к. мама их хранила у себя, отдельно от тех, которые находились в книжном шкафу, стоявшем в детской. Это были «Сказки Перро», и «Священная история» с иллюстрациями Гюстава Доре, и однотомник Гоголя, все три большого формата и в тяжелых переплетах. Еще не умея читать – я уже умела – на всю жизнь! – обращаться с книгами, ибо «нельзя» мамино воспитание в первую очередь относились к ним. Нельзя было брать за книгу, не вымыв предварительно руки, нельзя было перелистывать страницы, берясь за нижний угол, – только за верхний правый! и уж, конечно, нельзя было слюнявить пальцы, и заворачивать углы, и, самое для меня трудное, – ни в коем случае ничего не добавлять к иллюстрациям!

Сказки Перро, упрощая их, рассказывала мне мама, а показывал Доре. До сих пор вижу, как бредет Мальчикс-Пальчик в темном лесу среди деревьев с неохватными стволами и кудрявыми вершинами, вижу спящих с коронами на голове дочерей людоеда, пир в замке принца Хохлика, куда-то далеко едушую при свете месяца красавицу Ослиную Кожу.

Впрочем – рассказывали не только мне – рассказывать должна была и я сама – уметь передать своими словами услышанную сказку или объяснить то, что было изображено на картинках. Очень привлекали меня иллюстрации к Гоголю – по несколько подробных, мелких картинок на одной странице. О смысле и содержании их я должна была догадываться сама – Гоголя мне еще не рассказывали, он был недоступен моим 3–4 годам. «А это что? а это кто? а что он делает?» – спрашивает мама, я же, подыскивая сходство с чем-нибудь уже мне знакомым, отвечаю. Так, картинке, на которой были изображены Хома Брут, читающий над панночкой, сама панночка, бесы и летающая над ними крышка гроба, я дала следующее прозаическое толкование: «А это барышня просит у кухарки жареных обезьян». (Барышня – панночка, кухарка – Хома, крышка гроба – плита, бесы – жареные обезьяны.)

Один раз елку устроили в маминной комнате, и тогда, именно в тот раз, я впервые почувствовала, что радость где-то граничит с печалью; так хорошо, что почти грустно – почему? Та елочка была не такая уж большая – хоть и до потолка, но стояла не на полу, а на низеньком столике, покрытом голубым с серебряными звездами покрывалом; на серебряные звезды тихо капал разноцветный воск. Над каждой витой свечой дрожало и чуть колебалось золотое сердечко огня. И вся елка в сиянии своем казалась увеличенным язычком пламени невидимой свечи. Запах хвои и мандариновой шкурки; тепло, свет, множась и отражающийся в глазах взрослых. Было много глаз в тот сочельник, много гостей, но из глаз мне запомнились все те же самые любимые: – ярко-зеленые мамы, огромные серые папины; – а из гостей помню одну Пра и из всех подарков – привезенную ею из Крыма самодельную шкатулочку из мелких ракушек.

То была не первая елка, оставшаяся в памяти. Первая была... первая еще не граничила с грустью! Дверь в детскую, куда меня в тот день не пускали, вдруг открылась, и предо мною предстала огромная пирамида блеска, света, сверкающих мелочей, связанных в единое целое переливающимся серебром нитей и гирлянд. – «Что это?» – спросила я. «Елка!» – сказала Марина. «Где елка?» – спросила я, за всем этим блеском не разглядев дерева. И так и окаменела

на пороге. Мама за руку подвела меня к елке, сняла с нее шоколадный шар в станиолевой обертке и подала мне – но елка от этого не стала мне ближе, и шоколаду не хотелось. Я была ошеломлена и даже подавлена. – «Пойди к гостям, поздоровайся», – сказала мама, и только тут, осмотревшись, я увидела, что вдоль стен на стульях сидели гости – много, и все взрослые, и все знакомые. Я покорно пошла здороваться с каждым за ручку, и каждого угощала своей шоколадкой, и все почему-то смеялись, глядя на меня.

Все это было непонятно, и я не могла сбросить с себя оцепенения, вызванного непривычным. И вдруг все изменилось, чудо стало реальностью, обрело смысл, получив свое подтверждение в еще одном чуде. Дверь открылась, и в нее, со словами «опоздал, опоздал!», вошел веселый, необычайно милый старик с длинной седой бородой. Папа и мама поспешили к нему навстречу, поспешила, вдруг расколдованная, и я. Старик взял меня на руки, весело расцеловал, борода у него была мягкая, от нее еще веяло уличным холодом. «Здравствуй, здравствуй, – сказал он мне, – а ты меня помнишь?» – «Помню, – твердо сказала я, – Вы – Дед Мороз!» И опять все засмеялись, а громче всех – «Дед».

Это был пришедший к нам в гости старый друг нашей семьи – друг еще бабушки моей Елизаветы Петровны Дурново, П. С. Кропоткин.

Что было на следующий день? Что бывает на следующий после праздника день? Не помню – стоит в памяти одинокая елка – без вчера и без завтра, и держит меня на руках веселый Дед Мороз, и стоят возле нас и смеются веселые, счастливые папа и мама, Сережа и Марина... И все. Сидим в столовой, обедаем за круглым нашим столом, собственно, только начинаем обедать – только что подали суп. Вдруг треск, короткий грохот, за ним дребезг, разверзается небо, и на стол, на самую его середину, падает наш черный пудель Джек. Все, как по команде, вскакивают, а Джек, разбрасывая лапами приборы и куски хлеба, в звоне битой посуды и катящихся по полу салфеточных колец, спрыгивает со стола и с поджатым хвостом убегает в детскую. За ним тянется след вермишели и бульона. Секунда всеобщего молчания, потом говор, хохот, смятение...

Где-то на чердаке Джек нашел лазейку, через которую выбрался на крышу, и, бегая там, угодил в потолочное окно нашей столовой. Рама подалась под его тяжестью, и Джек рухнул прямо на стол, к счастью, ничего себе не повредив и перебив сравнительно немного посуды.

Мама рассказывала, что я выучилась ходить, держась за хвост Джека, – он терпеливо водил меня за собой по всей детской. Джек был угольно черный, конечно, стриженный по пуделиной моде, умница и добряк. Загубила его все та же крыша – как-то он опять залез на нее, заметили его мальчишки, стали дразнить. Джек бросился на них прямо с крыши и разбился.

Я болею. Я лежу в кровати среди бела дня, и мне не разрешено вставать. Мама привела в детскую рыжего с проседью доктора Ярхо, который еще ее лечил, когда она была маленькая. Это ничуть не мешает мне вопить не своим голосом, когда он выслушивает меня и стучит по моей спине холодными пальцами. У меня воспаление легких. Это очень хорошо – папа и мама все время играют со мной, меряют мне температуру и рассказывают сказки.

Вечером, когда они думают, что я заснула, они уходят. Но я не сплю, это няня спит, я только на минутку закрыла глаза.

Из запечного сумрака вылезает медведь. Он там живет. Он подходит к моей кровати и начинает меня катать лапами, как кухарка – тесто. Я кричу – но напрасно... Няня спит, и в детской – все по-прежнему, все вещи на своих местах, горит лампа в углу, няня спит, – а меня катает медведь. Но вот скрипнула дверь, медведь мгновенно скрывается за печкой. – «Что ты? что с тобой?» – спрашивает мама. – «Что тебе приснилось?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.